

Восстание ангелов

Автор:

Анатоль Франс

Восстание ангелов

Анатоль Франс

Фантастический роман Анатоля Франса «Восстание ангелов», изданный в 1914 году, описывает захват небес падшими ангелами. Согласно творческому замыслу автора, ангельский бунт имел место в этом же самом 1914 году. В своем романе Франс как бы предвосхитил начало величайших катаклизмов, когда для них не было видно никакого повода, и приурочил апокалиптическую драму на небесах к рядовому, казалось бы, земному году – 1914.

Анатоль Франс

Восстание ангелов

© Перевод. М. П. Богословская, наследники, 2019

© Перевод. Н. Я. Рыкова, наследники, 2019

© Агентство ФТМ, Лтд., 2019

* * *

Глава I,

которая в немногих строках излагает историю одной французской семьи с 1789 года до наших дней

Особняк д'Эпарвье под сенью св. Сульпиция высится своими тремя суровыми этажами над двором, позеленевшим от моха, с садом, который из года в год теснят все более высокие, все ближе подступающие к нему здания; но в глубине два громадных каштана все еще вздымают над ним свои поблекшие вершины. Здесь с 1825 по 1857 год жил великий человек этой семьи, Александр Бюссар д'Эпарвье, вице-президент государственного совета при Июльском правительстве, член Академии моральных и политических наук, автор трехтомного *in octavo* «Трактата о гражданских и религиозных установлениях народов», труда, к сожалению, незаконченного.

Этот прославленный теоретик либеральной монархии оставил наследником своего рода, своего состояния и своей славы Фульгенция-Адольфа Бюссара д'Эпарвье, который, сделавшись сенатором при Второй империи, значительно увеличил свои владения тем, что скупил участки, через которые должен был пройти проспект Императрицы, а сверх того произнес замечательную речь в защиту светской власти пап.

У Фульгенция было три сына. Старший, Марк-Александр, поступил на военную службу и сделал блестящую карьеру: он умел хорошо говорить. Второй, Гаэтан, не проявил никаких особенных талантов. Он жил большей частью в деревне, охотился, разводил лошадей, занимался музыкой и живописью. Третий, Ренэ, с детства был предназначен к юриспруденции, но, будучи в должности помощника прокурора, подал в отставку, чтобы избежать участия в применении декретов Ферри о конгрегациях; позднее, когда в правлении президента Фальера возвратились времена Деция и Диоклетиана, он посвятил все свои знания и все свое усердие служению гонимой церкви.

Со времени Конкордата 1801 года до последних лет Второй империи все д'Эпарвье, дабы подать пример, аккуратно посещали церковь. Скептики в душе, они считали религию средством, которое способствует управлению. Марк и Ренэ были первыми в роду, проявившими истинное благочестие. Генерал, еще будучи полковником, посвятил свой полк «Сердцу Иисусову» и исполнял обряды с таким рвением, которое выделяло его даже среди военных, а ведь известно, что набожность, дочь неба, избрала своим любимым местопребыванием на земле сердца генералов Третьей республики. И вера подчиняется капризам судьбы.

При старом режиме вера была достоянием народа, но отнюдь не дворянства и не просвещенной буржуазии. Во время Первой империи вся армия сверху донизу была заражена безбожием. В наши дни народ не верит ни во что. Буржуазия старается верить, и иногда ей это удается, как удалось Марку и Ренэ д'Эпарвье, однако брат их, сельский дворянин Гаэтан не достиг этого. Он был агностиком, – как говорят в спите, чтобы не употреблять неприятного слова «вольнодумец», – и он открыто объявлял себя агностиком, вопреки доброму обычаю скрывать такие вещи. В наше время существует столько способов верить и не верить, что грядущим историкам будет стоить немало труда разобраться в этой путанице. Но ведь и мы не лучше разбираемой и верованиях эпохи Симмаха и Амвросия.

Ревностный христианин, Ренэ д'Эпарвье был глубоко привержен тем либеральным идеям, которые достались ему от предков как священное наследие. Вынужденный бороться с республикой, безбожной и якобинской, он тем не менее считал себя республиканцем. Он требовал независимости и суверенных прав для церкви во имя свободы. В годы ожесточенных дебатов об отделении церкви от государства и споров о конфискации церковного имущества соборы епископов и собрания верующих происходили у него в доме.

И когда в большой зеленой гостиной собирались наиболее влиятельные вожди католической партии-прелаты, генералы, сенаторы, депутаты, журналисты, и души всех присутствующих устремлялись с умиленной покорностью или вынужденным послушанием к Риму, а господин д'Эпарвье, облокотясь на мраморный выступ камина, противопоставлял гражданскому праву каноническое и красноречиво изливал свое негодование по поводу ограбления французской церкви, – два старинных портрета, два лика, неподвижные и немые, озирали на это злободневное собрание. Направо от камина-портрет работы Давида-Ромэн Бюссар, землепашец из Эпарвье, в куртке и канифасовых штанах, с лицом грубым, хитрым, слегка насмешливым, – у него были основания смеяться: старик положил начало благосостоянию семьи, скупая церковные угодья. Слева портрет кисти Жерара – сын этого крестьянина, в парадном мундире, увешанный орденами, барон Эмиль Бюссар д'Эпарвье, префект империи и первый советник министра юстиции при Карле X, скончавшийся в 1837 году церковным старостой своего прихода со стишками из вольтеровской «Девственницы» на устах.

Ренэ д'Эпарвье в 1888 году женился на Марии-Антуанетте Купель, дочери барона Купеля, горнозаводчика в Бленвилле (Верхняя Луара); с 1903 года г-жа д'Эпарвье возглавляет общество христианских матерей. В 1908 году эти

примерные супруги выдали замуж старшую дочь; остальные трое детей – два сына и дочь – еще жили с ними.

Младший сын – шестилетний Леон – помещался в комнате рядом с апартаментами матери и сестры Берты. Старший Морис занимал маленький, в две комнаты, павильон в глубине сада. Молодой человек располагал там полной свободой, благодаря чему жизнь в семье казалась ему вполне сносной. Это был довольно красивый юноша, элегантный, без излишней манерности; легкая улыбка, чуть приподнимавшая один уголок его губ, была не лишена приятности.

В двадцать пять лет Морис обладал мудростью Экклезиаста. Усомнившись в том, чтобы человек мог получить какую-либо пользу от своих земных трудов, он никогда не обременял себя ни малейшим усилием. С самых ранних лет этот юный представитель знатного рода успешно избегал учения и, так и не отведав университетской премудрости, сумел стать доктором прав и адвокатом судебной палаты.

Он никого не защищал и не выступал ни в каких процессах. Он ничего не знал и не хотел ничего знать, сообразуясь в этом со своими природными способностями, милую ограниченность коих он избегал перегружать, ибо счастливый инстинкт подсказал ему, что лучше понимать мало, чем понимать плохо.

По выражению аббата Патуйля, Морис свыше получил блага христианского воспитания. С детства он видел примеры христианского благочестия у себя дома, а когда, окончив коллеж, он был зачислен на юридический факультет, он обрел у родительского очага ученость докторов, добродетель духовных пастырей и постоянство стойких женщин. Соприкоснувшись с общественной и политической жизнью во время великого гонения на французскую церковь, он не пропустил ни одной манифестации католической молодежи; в дни конфискации он возводил баррикады у себя в приходе, и вместе со своими приятелями выпряг лошадей архиепископа, когда того изгнали из дворца. Однако во всех этих обстоятельствах он проявлял весьма умеренное рвение; никто не видел, чтобы он красовался в первых рядах этого героического воинства, призывая солдат к славному неповиновению, или швырял в казначейских чиновников грязью и осыпал их оскорблениями.

Он выполнял свой долги только, а если во время великого паломничества 1911 года он и отличился в Лурде, перенося расслабленных, то существует

подозрение, что делал он это с целью понравиться г-же де ла Вердельер, которая любит сильных мужчин. Аббат Патуйль, друг семьи и глубокий знаток души человеческой, понимал, что Мориса отнюдь не привлекает мученический венец. Он упрекал его в недостатке рвения и драл за уши, называя бездельником. Во всяком случае, Морис был верующим. Среди заблуждений юности вера его оставалась нетронутой, ибо он к ней не прикасался. Он никогда не пытался вникнуть ни в один из ее догматов. Ему не приходило в голову задумываться над нравственными принципами, господствовавшими в кругу, к которому он принадлежал. Он принимал их такими, какими они были ему преподнесены. Поэтому при всех обстоятельствах он выказывал себя вполне порядочным человеком, что было бы выше его сил, если бы он стал размышлять о тех основах, на коих зиждутся нравы. Он был вспыльчив, горяч, обладал чувством чести и тщательно развивал его в себе. Он не был ни тщеславен, ни заносчив. Как большинство французов, он не любил тратить деньги; если бы женщины не заставляли его делать им подарки, он сам не стал бы ничего им дарить. Он полагал, что презирает женщин, а на самом деле обожал их, но чувственность его была столь непосредственной, что не позволяла ему замечать это. Единственное, чего никто не угадывал в нем и сам он отнюдь не подозревал в себе, хотя об этом и можно было догадаться по теплоте влажному сиянию, вспыхивавшему иногда в глубине его красивых светло-карих глаз, – это то, что он был существо нежное, способное к дружбе; а в общем, в повседневной жизни он был изрядный повеса.

Глава II,

в которой читатель найдет полезные сведения об одной библиотеке, где в скором времени произойдут невероятные события

Объятый желанием охватить весь круг человеческих знаний и стремясь дать своему энциклопедическому гению вещественный символ и реальную видимость, соответствующую своим денежным средствам, барон Александр д'Эпарвье собрал библиотеку в триста шестьдесят тысяч томов и рукописей, большинство коих принадлежало ранее бенедиктинцам из Лигюже.

В особом пункте своего завещания он вменял в обязанность наследникам пополнять после его смерти библиотеку всем, что будет выходить и свет

ценного в области естествознания, социологии, политики, философии и религии. Он выделил из оставленного им наследства специальные суммы для этой цели и поручил свою библиотеку заботам старшего сына Фульгенция-Адольфа. И Фульгенций-Адольф с сыновней рачительностью выполнял последнюю волю своего знаменитого отца.

После него эта огромная библиотека, стоимость коей превосходила долю каждого из наследников, осталась неразделенной между тремя сыновьями и двумя дочерьми сенатора. И Ренэ д'Эпарвье, к которому перешел особняк на улице Гарансьер, стал хранителем его богатейшего собрания. Сестры его, г-жа Поле-де-Сен-Фэн и г-жа Кюиссар, неоднократно настаивали на ликвидации этого громадного и бездоходного имущества, но Ренэ и Гаэтан выкупили долю своих двух сонаследниц, и библиотека была спасена. Ренэ д'Эпарвье занялся даже ее пополнением, согласно воле основателя. Однако с каждым годом он сокращал количество и стоимость новых приобретений, основываясь на том, что плодов умственного труда в Европе становится все меньше.

Гаэтан, напротив, из собственных средств пополнял библиотеку новыми, на его взгляд, достойными трудами, выходившими во Франции, а также за границей, и при этом показал себя не лишенным объективного суждения, хотя братья считали, что у него нет и крупницы здравого смысла. Благодаря этому праздному, любознательному человеку книжное собрание барона Александра кое-как держалось на уровне своего времени.

Библиотека д'Эпарвье еще и сейчас одна из лучших частных библиотек в Европе по богословию, юриспруденции и истории. Вы можете изучать здесь физику, или, лучше сказать, физические науки во всех их разветвлениях, а если вам вздумается, то и метафизику, или метафизические науки, то есть все, что лежит за пределами физики и не имеет другого названия, ибо невозможно обозначить каким-нибудь существительным то, что не имеет существа, а являет собой лишь мечты и иллюзорные представления. Вы можете наслаждаться здесь философами, которые утверждают, отрицают или разрешают проблему абсолютного, определяют неопределимое и устанавливают границы безграничного. Все что угодно можно найти в этой груде писаний и сочинений, священных и нечестивых, – все, вплоть до самого модного, самого элегантного прагматизма. Иные библиотеки знамениты более богатым собранием переплетов, которые внушают почтение своей древностью, славятся своим происхождением, пленяют атласистостью и оттенками кожи, – они обратились в драгоценность благодаря искусству золотильщика, который вытиснил на них

тончайший узор – виньетки, завитки, гирлянды, кружева, эмблемы, гербы, – и своим нежным блеском чаруют ученые взоры; в других библиотеках вы, может быть, найдете больше манускриптов, которые венецианская, фламандская или туренская кисть украсила тонкими и живыми миниатюрами. Но ни одна из них не превзойдет эту библиотеку богатством собранных в ней отличных, солидных изданий старинных и современных, духовных и светских авторов. В ней можно найти все, что нам осталось от древних веков, отцов церкви, апологетов и декреталистов, всех гуманистов Возрождения, всех энциклопедистов, всю философию, всю науку.

Именно это и заставило кардинала Мерлена сказать, когда он соизволил посетить библиотеку:

– Невозможно найти человека, у которого была бы достаточно крепкая голова, чтобы вместить всю ученость, собранную на этих полках. К счастью, в этом нет никакой необходимости.

Когда монсеньор Кашпо был викарием в Пираже, он там часто занимался и нередко говаривал:

– Здесь достаточно пищи, чтобы вскормить не одного Фому Аквинского и не одного Ария, если бы только умы человеческие не утратили былого рвения к добру и злу.

Рукописи, бесспорно, составляют главное богатство этого колоссального собрания. Среди них особенного внимания заслуживают неизданные письма Гассенди, отца Мерсенна, Паскаля, которые проливают новый свет на мировоззрение XVII века. Необходимо также отметить древнееврейские писания, талмуды, ученые сочинения раввинов, печатные или рукописные, арамейские и самаритянские тексты на бараньей коже или дощечках сикоморы, – словом, все те драгоценные древние экземпляры, которые были собраны в Египте и Сирии знаменитым Моисеем Динским и куплены Александром д'Эпарвье за бесценок, когда в 1836 году ученый гебраист умер в Париже от старости и нищеты.

Библиотека д'Эпарвье занимала третий этаж старого особняка. Труды, представлявшие второстепенный интерес, как, например, произведения протестантской экзегетики XIX и XX веков, приобретенные Гаэтаном д'Эпарвье, были запрятаны непереплетенными в глубоких недрах мансарды. Каталог с

дополнениями составлял по меньшей мере 18 томов in folio. Каталог этот включал все новые приобретения, и библиотека содержалась в образцовом порядке. В 1895 году г-н Жюльен Сарьетт, архивариус-палеограф, человек бедный и скромный, живший уроками, сделался по рекомендации епископа Агрского воспитателем юного Мориса и почти с того же времени – хранителем библиотеки д'Эпарвье. Одаренный способностью к методическому труду и упорным терпением, Сарьетт сам разнес по отделам все части этого огромного целого. Выработанная и применяемая им система была столь сложна, шифры, которые он ставил на книгах, состояли из такого количества больших и малых латинских и греческих букв, арабских и римских цифр с одной, двумя и тремя звездочками да еще с разными знаками, которыми в арифметике обозначаются степени и корни, что для изучения всего этого надо было потратить больше времени и труда, чем для изучения полного курса алгебры; а так как не нашлось никого, кто бы согласился посвятить уразумению этих темных символов время, которое с большей пользой можно было бы употребить на открытие законов чисел, то один только г-н Сарьетт и был способен разбираться в своих классификациях, и отыскать без его помощи нужную книгу среди трехсот шестидесяти тысяч вверенных ему томов стало раз и навсегда невозможным. Таков был результат его стараний. И это не только не огорчало его, а, наоборот, доставляло ему живейшее удовольствие.

Г-н Сарьетт любил свою библиотеку. Он любил ее ревнивой любовью. Каждый день с семи часов утра он уже сидел там за большим столом красного дерева, уткнувшись в каталог. Карточки, исписанные его рукой, наполняли стоявшую возле него монументальную картотеку, на которой красовался гипсовый бюст Александра д'Эпарвье с развевающимися волосами и вдохновенным взором, с маленькими, как у Шатобриана, бачками у самых ушей, с полураскрытым ртом и оголенной грудью. Ровно в полдень г-н Сарьетт отправлялся завтракать в кафе «Четырех епископов». Кафе это находилось на узкой и темной улице Канетт; некогда его посещали Бодлэр, Теодор де Банвиль, Шарль Асселино, Лун Менар и некий испанский гранд, который перевел на язык конквистадоров «Тайны Парижа». И утки, которые так славно плещутся на старой каменной вывеске, – благодаря им улица и получила свое название, – приветствовали г-на Сарьетта. Он возвращался оттуда ровно без четверти час и не выходил из библиотеки до семи, когда он опять отправлялся к «Четырем епископам» и усаживался за свой скромный обед, неизменно завершавшийся черносливом. Каждый вечер после обеда сюда заглядывал его приятель Мишель Гинардон, которого все звали папаша Гинардон. Это был художник-декоратор, реставратор картин, работавший в церквях. Он являлся к «Четырем епископам» со своего чердака на улице Принцессы выпить кофе с ликером и сыграть с приятелем в домино.

Рослый, кряжистый, полный жизненных сил, папаша Гинардон был так древен, что это даже трудно себе представить: он знал Шенавара. Свирепый блюститель целомудрия, он неустанно обличал распутство современных язычников, пересыпая свою речь самыми чудовищными непристойностями. Он любил поговорить. Сарьетт с удовольствием слушал его. Папаша Гинардон с увлечением рассказывал своему приятелю о часовне Ангелов в церкви св. Сульпиция; там начала местами лупиться живопись, и он собирался ее реставрировать, когда на это будет милость божья, потому что, с тех пор как церковь отделилась от государства, храмы сделались достоянием одного господина бога и никто не желает тратить денег даже на самый неотложный ремонт. Но папаша Гинардон не гнался за деньгами.

– Михаил – мой покровитель, – говорил он, – а к часовне святых Ангелов у меня особое пристрастие.

Сыграв партию в домино, они поднимались – крошечный Сарьетт и крепкий, как дуб, косматый, как лев, громадный, как св. Христофор, папаша Гинардон и, беседуя, шли рядом через площадь св. Сульпиция, и ночь спускалась над ними, когда тихая, когда ненастная. Сарьетт обычно отправлялся прямо к себе домой, к великому огорчению художника, который любил побродить и поболтать ночью.

На следующий день, ровно в семь, Сарьетт уже сидел у себя в библиотеке, уткнувшись в каталог. Когда кто-нибудь входил в библиотеку, Сарьетт из-за своего письменного стола устремлял на посетителя взор Медузы, заранее ужасаясь тому, что у него сейчас попросят книгу. Он рад был бы обратиться в камень этим взглядом не только чиновников, политиков, прелатов, которые, пользуясь дружескими отношениями с хозяином, приходили попросить нужную книгу, но даже и благодетеля библиотеки г-на Гаэтана, который иногда брал какую-нибудь старенькую, легкомысленную или нечестивую книжицу на случай, если в деревне зарядит дождь, и г-жу Ренэ д'Эпарвье, когда она приходила за книгами для больных своего госпиталя, и самого г-на Ренэ д'Эпарвье, хотя он обычно довольствовался «Гражданским кодексом» и Даллозом. Всякий, кто уносил с собой самую ничтожную книжонку, раздирал Сарьетту душу. Чтобы отказать в выдаче книги даже тем, кто имел на нее больше всего прав, он выдумывал тысячи предлогов, иногда удачных, а большей частью совсем неудачных, не останавливался даже перед тем, чтобы оклеветать самого себя, подвергнуть сомнению свою бдительность, и уверял, что книга пропала, затерялась, хотя за несколько секунд до того он ласкал ее взглядом и прижимал к сердцу. И когда ему все-таки, несмотря ни на что, приходилось выдать книгу,

он раз двадцать брал ее из рук посетителя, прежде чем вручить окончательно.

Он беспрестанно дрожал от страха, как бы не пропало что-либо из доверенных ему сокровищ. Он хранил триста шестьдесят тысяч томов, и у него вечно было триста шестьдесят тысяч поводов для беспокойства. Ночью он иногда просыпался с жалобным воплем, в холодном поту, ибо ему снилась черная дыра на одной из библиотечных полок.

Ему казалось чудовищным, незаконным и непоправимым, чтобы книга покидала свою полку. Его благородная скупость приводила в отчаяние г-на Ренэ д'Эпарвье, который не ценил достоинств своего образцового библиотекаря и считал его старым маньяком. Сарьетт понятия не имел об этой несправедливости, но он не побоялся бы самой жестокой немилости, вынес бы бесчестье, оскорбление, лишь бы сохранить в неприкосновенности свое сокровище. Благодаря его упорству, бдительности и рвению или, чтобы выразить все одним словом, благодаря его страсти библиотека д'Эпарвье под его опекой не потеряла ни одного листа в течение шестнадцати лет, которые истекли 9 сентября 1912 года.

Глава III,

которая вводит читателя в область таинственного

В этот день, в семь часов вечера, расставив, как всегда, на полках те книги, которые были сняты с них, и удостоверившись, что все остается в полном порядке, он вышел из библиотеки и запер за собой дверь, два раза повернув ключ в замке.

Он пообедал по обыкновению в кафе «Четырех епископов», прочел газету «Ла Круа» и к десяти часам вернулся в свою маленькую квартирку на улице Регар. Этот чистый сердцем человек не испытывал ни тревоги, ни предчувствия. Он спокойно спал в эту ночь. Ровно в семь часов на следующее утро он вошел в переднюю библиотеки, снял по обыкновению новый сюртук и надел старый, висевший в стенном шкафу над умывальником, затем прошел в рабочий кабинет, где в продолжение шестнадцати лет он шесть дней в неделю обрабатывал свой каталог под вдохновенным взором Александра д'Эпарвье, и,

намереваясь произвести, как всегда, осмотр помещения, проследовал оттуда в первый, самый большой зал, где «Теология» и «Религия» хранились в громадных шкафах, увенчанных гипсовыми, под бронзу, бюстами древних поэтов и ораторов. В оконных нишах стояли два огромных глобуса, изображавших землю и небо. Но едва только Сарьетт вступил туда, он остановился как вкопанный, не смея усомниться в том, что видит, и в то же время не веря собственным глазам. На синем сукне стола кое-как, кучей, были свалены книги, – одни раскрыты, текстом вверх, другие перевернутые вверх корешками. Несколько *in quarto* беспорядочно громоздились друг на дружку неустойчивой кипой; два греческих лексикона лежали, втиснутые один в другой, образуя единое существо, более чудовищное, чем человеческие пары божественного Платона. Один *in folio* с золотым обрезом валялся раскрытый, выставя наружу три безобразно загнутых листа.

Выйдя через несколько секунд из своего оцепенения, библиотекарь приблизился к столу и увидел в этой хаотической груде свои драгоценнейшие еврейские, греческие и латинские библии, уникальный талмуд, печатные и рукописные трактаты раввинов, арамейские и самаритянские тексты, синагогальные свитки, короче говоря, – редчайшие памятники Израиля, сваленные в кучу, брошенные и растерзанные. Г-н Сарьетт очутился перед лицом чего-то что было невозможно понять и чему он все же пытался найти объяснение. С какой радостью ухватился бы он за мысль, что виновником этого чудовищного беспорядка был г-н Гаэтан, человек беспринципный, пользовавшийся своими пагубными приношениями в библиотеку для того, чтобы брать из нее книги охапками, когда он бывал в Париже. Но г-н Гаэтан в это время путешествовал по Италии. После нескольких секунд размышления Сарьетт предположил, что, может быть, поздно вечером г-н Ренэ д'Эпарвье взял ключи у своего камердинера Ипполита, который вот уже двадцать пять лет убирал комнаты третьего этажа и мансарду. Правда, г-н Ренэ д'Эпарвье никогда не работал по ночам и не знал древнееврейского языка, но, может быть, думал г-н Сарьетт, может быть, он привел или распорядился проводить в эту залу какого-нибудь священника или монаха Иерусалимского ордена, остановившегося проездом в Париже, какого-нибудь ученого ориенталиста, занимающегося толкованием священных текстов. Затем у г-на Сарьетта мелькнула мысль: не аббат ли Патуйль, который отличался такой любознательностью и имел обыкновение загигать страницы, набросился на все эти библейские тексты и талмуды, объятый внезапным стремлением постигнуть душу Сима? На секунду он подумал, что, может быть, сам старый камердинер Ипполит, который четверть века подметал и убирал библиотеку, слишком долго отравлялся этой ученой пылью и вот нынешней ночью, снедаемый любопытством, вздумал портить себе глаза, губить разум и душу, пытаясь при

лунном свете разгадать эти непонятные знаки. Г-н Сарьетт дошел даже до того, что заподозрил юного Мориса. Он мог, вернувшись из клуба или из какого-нибудь собрания националистов, повытаскивать с полок и свалить в кучу эти еврейские книги просто из ненависти к древнему Иакову и его новому потомству, так как этот отпрыск благородного рода заявлял, что он антисемит, и поддерживал знакомство только с теми евреями, которые, как и он, были антисемитами. Конечно, такое подозрение трудно было допустить, но взбудораженный ум Сарьетта, не находя ничего, на чем можно было бы остановиться, блуждал среди самых невероятных предположений. Горя нетерпением узнать правду, ревностный хранитель книг позвал камердинера.

Ипполит ничего не знал. Швейцар, когда его спросили, не мог дать никаких объяснений. Никто из слуг не слышал ничего подозрительного. Сарьетт спустился в кабинет г-на Ренэ д'Эпарвье; тот встретил его в халате и ночном колпаке и, выслушав его рассказ с видом серьезного человека, которому надоедают со всякой чепухой, проводил его со словами, в которых сквозила жестокая жалость;

– Не огорчайтесь так, мой милый Сарьетт, будьте уверены, что книги лежат сегодня утром там же, где вы их вчера оставили.

Г-н Сарьетт раз двадцать начинал сызнава опрашивать слуг, ничего не добился и расстроился до такой степени, что не мог спать. На следующий день, в семь часов утра, войдя в залу Бюстов и Глобусов, он нашел все в полном порядке и вздохнул с облегчением. Вдруг сердце у него заколотилось с неистовой силой, – на мраморной доске камина он увидел раскрытый, непереpletенный томик *in octavo* новейшего издания с вложенным в него самшитовым ножом, которым были разрезаны страницы. Это была диссертация, тема которой заключалась в сопоставлении двух текстов книги Бытия. Некогда г-н Сарьетт отправил ее на чердак, и с тех пор ее ни разу не извлекали оттуда, ибо никто из знакомых г-на д'Эпарвье не интересовался вопросом о том, какая часть этой первой из священных книг приходится на долю толкователя-монотеиста и какая на долю толкователя-политеиста. На этой книге стоял значок. И вот тут-то г-ну Сарьетту внезапно открылась горькая истина, что никакая самая ученая нумерация не поможет найти книгу, если ее нет на месте.

Так в течение целого месяца на столе каждый день с утра громоздились целые груды книг. Латинские и греческие тексты валялись вперемежку с древнееврейскими. Сарьетт задавал себе вопрос, не является ли эти ночные

разгромы делом злоумышленников, которые проникают сюда с чердака, через слуховое окно, чтобы похитить редкие и ценные издания. Но никаких следов взлома нигде не было видно, и, несмотря на самые тщательные розыски, он ни разу не обнаружил ни малейшей пропажи. Сарьетт совершенно потерял голову, и его стала преследовать мысль, что, может быть, это какая-нибудь обезьяна из соседнего дома лазает с крыши через камин и орудует здесь, имитируя ученые занятия. «Обезьяны, – рассуждал он, – очень искусно подражают действиям человека». Так как нравы этих животных были известны ему главным образом по картинам Ватто и Шардена, он воображал, что в искусстве повторять чьи-нибудь жесты или передразнивать кого-нибудь они подобны Арлекинам, Скарамушам, Церлинам и Докторам итальянской комедии; он представлял их себе то с палитрой и кистями, то со ступкой в руке за приготовлением снадобий, то склоненными над горном за изучением старинной книги по алхимии. И когда в одно злосчастное утро он увидел большую чернильную кляксу на странице III тома многоязычной Библии в голубом сафьяновом переплете, с гербом графа Мирабо, он уже не сомневался больше, что виновницей этого злодеяния была обезьяна. Она пыталась «делать заметки» и опрокинула чернильницу. Очевидно, это была обезьяна какого-нибудь ученого.

Обуянный этой мыслью, Сарьетт тщательно изучил топографию квартала, для того чтобы точно представить себе расположение домов, среди которых возвышался особняк д'Эпарвье. Затем прошел по всем четырем прилегающим улицам и в каждом подъезде спрашивал, нет ли в доме обезьяны. Он обращался с этим вопросом к привратникам и привратницам, к прачкам, служанкам, к сапожнику, к торговке фруктами, к стекольщику, к газетчикам, к священнику, к переплетчику, к двум полицейским, к детям, и ему пришлось столкнуться с различием характеров и многообразием человеческих настроений в одном и том же народе, ибо ответы, которые он получал на свои вопросы, были весьма различны: они были иногда суровые, иногда ласковые, грубые и учтивые, простодушные к иронические, многословные и короткие и даже немые, – только о животном, которое он разыскивал, не было ни слуху ни духу. Но вот однажды под аркой одного старого дома на улице Сервандони веснушчатая рыжая девчонка, сидевшая в каморке привратника, сказала ему:

– Да, у нас есть обезьяна у господина Ордоно, хотите посмотреть?

И без дальних разговоров она повела старика в глубину двора, к сараю. Там, на согретой соломе, на рваной подстилке, сидела, дрожа, молодая макака, охваченная цепью поперек туловища. Она была ростом с пятилетнего ребенка.

Ее посиневшая мордочка, морщинистый лоб, тонкие губы выражали смертельную тоску. Она подняла на посетителя все еще живой взгляд своих желтых зрачков. Потом маленькой сухой ручкой схватила морковку, поднесла ко рту и тут же отшвырнула прочь. Поглядев несколько мгновений на пришедших, пленница отвернулась, как если бы она не ждала ничего больше ни от людей, ни от жизни. Скорчившись, обхватив колено рукой, она сидела, не двигаясь, но время от времени сухой кашель сотрясал ее грудь.

- Это Эдгар, - сказала девочка. - Вы знаете, он продается! Но старый книголюб, который пришел сюда, объятый гневом и негодованием, ожидая встретить насмешливого врага, коварное чудовище, ненавистника книг, теперь стоял растерянный, подавленный, огорченный перед этим маленьким зверьком, у которого не было ни сил, ни радости, ни желаний. Поняв свою ошибку, растроганный этим почти человеческим лицом, еще более очеловеченным печалью и страданиями, он опустил голову и сказал:

- Простите.

Глава IV,

которая в своей внушительной краткости выносит нас за пределы осязаемого мира

Прошло два месяца; безобразия с книгами не прекращались, и г-н Сарьетт начал подумывать о франкмасонах. Газеты, которые он читал, были полны их преступлениями. Аббат Патуйль считал их способными на самые черные злодеяния и утверждал, что они, вкуче с евреями, замышляют полное разрушение христианского мира.

Они достигли теперь вершины своего могущества, они господствовали во всех крупных государственных органах, командовали палатами, у них было пять своих людей в министерстве, они занимали Елисейский дворец, они уже отправили на тот свет одного президента за его патриотизм и затем помогли исчезнуть виновникам и свидетелям своего гнусного злодеяния. Не проходило дня без того, чтобы Париж с ужасом не узнавал о каком-нибудь новом таинственном убийстве, подготовленном в Ложях. Все это были факты, не

допускавшие сомнения. Но каким образом преступники проникали в библиотеку? Сарьетт не мог себе этого представить. И что им там было нужно и почему они привязались к раннему христианству и к эпохе возникновения церкви? Какие нечестивые замыслы были у них? Глубокий мрак покрывал эти чудовищные махинации. Честный католик, архивист, чувствуя на себе бдительное око сынов Хирама, заболел от страха.

Едва оправившись, он решил провести ночь в том самом месте, где совершались столь загадочные происшествия, чтобы застигнуть врасплох коварных и опасных гостей. Это было большое испытание для его робкого мужества.

Будучи человеком слабого сложения и беспокойного характера, Сарьетт, естественно, не отличался храбростью. Восьмого января, в девять часов вечера, когда город засыпал под снежным бураном, он жарко растопил камин в зале, украшенном бюстами древних поэтов и мудрецов, и устроился в кресле перед огнем, закутав колени пледом. На столике перед ним стояла лампа, чашка черного кофе и лежал револьвер, взятый у юного Мориса. Он попытался было читать газету «Ла Круа», но строчки плясали у него перед глазами. Тогда он стал пристально смотреть прямо перед собой и, не видя ничего, кроме мглы, и не слыша ничего, кроме ветра, уснул.

Когда он проснулся, огонь в камине уже погас, догоревшая лампа распространяла едкую вонь; мрак вокруг него был полон каких-то молочно-белых отсветов и фосфоресцирующих вспышек. Ему показалось, будто на столе что-то шевелится. Ужас и холод пронизали его до мозга костей, но, поддерживаемый решимостью, которая была сильнее страха, он встал, подошел к столу и провел рукой по сукну. Ничего не было видно, даже отсветы исчезли, но он нащупал пальцами раскрытый фолиант. Он попробовал было закрыть его, но книга не слушалась и, вдруг подскочив, трижды больно ударила неосторожного библиотекаря по голове. Сарьетт упал без сознания.

С этого дня дела пошли еще хуже. Книги целыми грудями исчезали с полок, и теперь их уже не всегда удавалось водворить на место; они пропадали. Сарьетт каждый день обнаруживал все новые и новые пропажи. Болландисты были разрознены, не хватало тридцати томов экзегетики. Сарьетт стал не похож на себя. Лицо у него сморщилось в кулачок и пожелтело, как лимон, шея вытянулась, плечи опустились, одежда висела на нем, как на вешалке, он перестал есть и в кафе «Четырех епископов» сидел, опустив голову, и смотрел тупыми, ничего не видящими глазами на блюдце, где в мутном соку плавал

чернослив. Он не слышал, когда папаша Гинардон сообщил ему, что принимается наконец за реставрацию росписей Делакруа в церкви св. Сульпиция.

На тревожные заявления своего несчастного хранителя г-н Ренэ д'Эпарвье сухо отвечал:

- Книги просто затерялись где-нибудь, - они не пропали. Ищите хорошенько, господин Сарьетт, ищите получше, и вы их найдете. А за спиной старика он говорил тихонько:

- Этот бедняга Сарьетт плохо кончит.

- Мне кажется, - заключал аббат Патуйль, - у него что-то с головой не в порядке.

Глава V,

где часовня Ангелов в церкви св. Сульпиция дает пищу для размышлений об искусстве и богословии

Часовня св. Ангелов, которая находится справа от входа в церковь св. Сульпиция, была закрыта дощатой загородкой. Аббат Патуйль, г-н Гаэтан, его племянник Морис и г-н Сарьетт вошли гуськом через дверцу, проделанную а загородке, и увидели папашу Гинардона на верхней ступеньке лестницы, приставленной к «Илиодору». Старый художник, вооруженный всяческими составами и инструментами, замазывал беловатой пастой трещину, рассекавшую первосвященника Онию. Зефирина, любимая модель Поля Бодри, Зефирина, которая надела своими белокурыми волосами и перламутровыми плечами стольких Магдалин, Маргарит, Сильфид и Ундин; Зефирина, которая, как поговаривали, была возлюбленной императора Наполеона III, стояла внизу у лестницы, взлохмаченная, с землистым лицом, с воспаленными глазами, с украшенным обильной растительностью подбородком, и казалась еще древнее, чем папаша Гинардон, с которым она прожила больше полувека. Она принесла в корзинке завтрак художнику.

Несмотря на то, что сквозь решетчатое окно, стекла которого были оправлены свинцом, сбоку проникал холодный свет, краски Делакруа сверкали, а тела людей и ангелов соперничали в блеске с красной лоснящейся рожей папаши Гинардона, видневшейся из-за колонны храма. Эта стенная роспись в часовне Ангелов, которая вызвала такие насмешки и глумления, когда появилась, ныне вошла в классическую традицию и обрела бессмертие шедевров Рубенса и Тинторетто.

Старик Гинардон, обросший бородой, косматый, был подобен Времени, стирающему работу Гения. Гаэтан в испуге вскрикнул:

– Осторожней, господин Гинардон, осторожней, не скоблите так.

Художник сказал спокойно:

– Не бойтесь, господин д'Эпарвье. Я не пишу в этой манере, Мое искусство выше. Я работаю в духе Чимабуэ, Джотто, Беато Анджелико. Я не подражатель Делакруа. Слишком уж здесь много противоречий и контрастов, нет впечатления подлинной святости. Шенавар, правда, говорил, что христианство любит пестроту, но Шенавар был проходимец, нехристь без стыда и совести... Смотрите, господин д'Эпарвье, я шпаклюю щель, подклеиваю отставшие кусочки, и только... Эти повреждения вызваны оседанием стены или, что еще вероятнее, небольшим колебанием почвы; они охватывают очень небольшую площадь. Эта живопись масляными и восковыми красками по очень сухой грунтовке оказалась более прочной, чем можно было думать. Я видел Делакруа за этой работой. Стремительный, но неуверенный, он писал лихорадочно, счищал то и дело, клал слишком много краски. Его мощная рука писала иной раз с детской неловкостью. Это написано с мастерством гения и неопытностью школяра. Просто чудо, что все это еще держится.

Старик замолчал и снова принялся заделывать трещину.

– Как много в этой композиции классического и традиционного, – заметил Гаэтан. – Когда-то в ней видели только поражающее новаторство. А теперь мы находим в ней бесчисленные следы старых итальянских образцов.

– Я могу позволить себе роскошь быть справедливым, я располагаю для этого всеми возможностями, – отозвался старик с высоты своего горделивого

помоста. – Делакура жил во времена нечестия и богохульства. Этот живописец упадка был не лишен гордости и величия. Он был лучше своей эпохи, но ему не доставало веры, простосердечия, чистоты. Чтобы видеть и писать ангелов, ему не доставало ангельской добродетели, которой дышат примитивы, той высшей добродетели целомудрия, которую я с божьей помощью всегда старался соблюдать.

– Молчи, Мишель, ты тоже свинья, как и все.

Это восклицание вырвалось у Зефирины, снедаемой ревностью, потому что еще сегодня утром она видела, как ее любовник обнимал на лестнице дочку булочницы, юную Октавию, грязную, но сияющую, словно Рембрандтова невеста. В давно минувшие дни прекрасной юности Зефирина была без памяти влюблена в своего Мишеля, и любовь еще не угасла в ее сердце.

Папаша Гинардон принял это лестное оскорбление с еле скрытой улыбкой и возвел очи к небу, где архангел Михаил, грозный под своим лазурным панцирем и алым шлемом, возносился в сиянии славы.

Между тем аббат Патуйль, заслонясь шляпой от резкого света, льющегося из окна, и прищутив глаза, рассматривал по очереди: Илиодора, бичуемого ангелами, святого Михаила, победителя демонов, и Иакова, который борется с ангелом.

– Все это очень хорошо, – пробормотал он наконец, – но почему живописец изобразил на этих стенах только гневных ангелов? Сколько я ни разглядываю эту роспись, я вижу здесь только глашатаев небесного гнева, вершителей божественного мщения. Бог хочет, чтобы его боялись, но он хочет также, чтобы его любили. Как отрадно было бы увидеть на этих стенах вестников милосердия и мира. Как хотелось бы, например, узреть здесь Серафима, который очистил уста пророка; святого Рафаила, сошедшего вернуть зрение престарелому Товию; Гавриила, возвещающего Марии тайну святого зачатия; ангела, который разрешает от уз святого Петра; херувимов, которые уносят преставившуюся святую Екатерину на вершину Синая, я всего лучше было бы созерцать здесь ангелов-хранителей, которых бог дает всем людям, крещенным во имя его. У всякого из нас есть свой ангел, он сопутствует каждому нашему шагу, утешает и поддерживает нас. Какое счастье было бы любоваться здесь, в часовне, этими небесными духами, полными очарования, этими восхитительными образами.

– Ах, господин аббат, всякому свое, – ответил Гаэтан. – Делакура был не из кротких. Старик Энгр был до известной степени прав, говоря, что живопись этого великого человека попахивает серой. Присмотритесь-ка к этим ангелам, какая великолепная и мрачная красота, а эти гордые и свирепые андрогины, эти жестокие отроки, заносащие над Илиодором карающие бичи! И этот таинственный борец, который разит патриарха в бедро.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://tellnovel.me/ru/anatol-frans/vosstanie-angelov>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)